

Александр Степанович Грин

Возвращенный ад



Александр Грин
Возвращенный ад

«Public Domain»

1915

Грин А. С.

Возвращенный ад / А. С. Грин — «Public Domain», 1915

«Болезненное напряжение мысли, крайняя нервность, нестерпимая насыщенность остротой современных переживаний, бесчисленных в своем единстве, подобно куску горного льна, дающего миллионы нитей, держали меня, журналиста Галиена Марка, последние десять лет в тисках пытки сознания. Не было вещи и факта, о которых я думал бы непосредственно: все, что я видел, чувствовал или обсуждал, – состояло в тесной, кропотливой связи с бесчисленностью мировых явлений, брошенных сознанию по рельсам ассоциации. Короче говоря, я был непрерывно в состоянии мучительного философского размышления, что свойственно вообще людям нашего времени, в разной, конечно, лишь силе и степени...»

Содержание

I	5
II	9
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Александр Грин

Возвращенный ад

I

Болезненное напряжение мысли, крайняя нервность, нестерпимая насыщенность остротой современных переживаний, бесчисленных в своем единстве, подобно куску горного льна, дающего миллионы нитей, держали меня, журналиста Галиена Марка, последние десять лет в тисках пытки сознания. Не было вещи и факта, о которых я думал бы непосредственно: все, что я видел, чувствовал или обсуждал, – состояло в тесной, кропотливой связи с бесчисленностью мировых явлений, брошенных сознанию по рельсам ассоциации. Короче говоря, я был непрерывно в состоянии мучительного философского размышления, что свойственно вообще людям нашего времени, в разной, конечно, лишь силе и степени.

По мере исчезновения пространства, уничтожаемого согласным действием бесчисленных технических измышлений, мир терял перспективу, становясь похожим на китайский рисунок, где близкое и далекое, незначительное и колоссальное являются в одной плоскости. Все приблизилось, все задавило сознание, измученное непосильной работой. Наука, искусство, преступность, промышленность, любовь, общественность, крайне утончив и изошрив формы своих явлений, ринулись неисчислимой армией фактов на осаду рассудка, обложив духовный горизонт тучами строжайших проблем, и я, против воли, должен был держать в жалком и неверном порядке, в относительном равновесии – весь этот хаос умозрительных и чувствительных впечатлений.

Я устал наконец. Я очень хотел бы поглупеть, сделаться бестолковым, придурковатым, таким смешливым субъектом со скудным диапазоном мысли и ликующими животными стремлениями. Проходя мимо сумасшедшего дома, я подолгу засматривался на его вымазанные белилами окна, подчеркивающие слепоту душ людей, живущих за устрашающими решетками. «Возможно, что хорошо лишиться рассудка», – говорил я себе, стараясь представить загадочное состояние больного духа, выраженное блаженно-идиотской улыбкой и хитрым подмигиванием. Иногда я прилипчиво торчал в обществе пошляков, стараясь заразиться настроением холостяцких анекдотов и самодовольной грубости, но это не спасало меня, так как спустя недолгое время я с ужасом видел, что и пошленькое пристегнуто к дьявольскому колесу размышлений. Но этого мало. Кто задумался хоть раз над происхождением неясного беспокойства, достигающего истерической остроты, и кто, минуя соблазнительные гавани доктрин физиологических, искал причин этого в гипертрофии реальности, в многоформности ее электризирующих прикосновений, – тот, конечно, не моргнув глазом вынесет оправдательный вердикт невинному дурному пищеварению и признает, что, кроме чувств, воспринимающих мир в виде, так сказать, взаимных рукопожатий с ним и его абстракциями, существует впечатление на расстоянии, особая восприимчивость душевного аппарата, ставшая, в силу условий века, явлением заурядным. – Некто болен, о чем вы не подозреваете, но вас беспричинно тянет пойти к нему. Случается и обратное, – некто испытывает сильную радость; вы же, находясь до этого в состоянии хронической мрачности, становитесь необъяснимо веселым, соответственно настроению данного «некто». Такие совпадения встречаются по преимуществу меж близкими или много думающими друг о друге людьми; примеры эти я привожу потому, что они элементарно просты, известны почти каждому из личного опыта и поэтому – достоверны, а достоверное убедительно. Разумеется, проверенность указанных совпадений не может простирается на человечество в совокупности, однако это еще не значит, что мы хорошо изолированы; раз впечатление на расстоянии установлено вообще, размеры расстояния как такового отпадают по

существо вопроса; иначе говоря, в таком порядке явлений, где действуют (пора бы признать) агенты *малоисследованные* – расстояние исчезает. И я заключаю, что мы ежесекундно подвергаемся тайному психическому давлению миллиардов живых сознаний, так же как пчела в улье слышит гул роя, но это – вне свидетельских показаний и я, например, не мог спросить у населения Тонкина, – не его ли религиозному празднику и хорошей погоде обязан одной-единственной непохожей на остальные минутой яркого возбуждения, полного оттенков нездешнего? Установить такую зависимость было бы величайшим торжеством нашего времени, когда, как я сказал и как продолжаю думать, изощренность нервного аппарата нашего граничит с чтением мыслей.

Моему изнурению, происходившему от чрезвычайной нервности и надоедливо тревожной сложности жизни, могло помочь, как я надеялся, глубокое одиночество, и я сел на пароход, плывущий в Херам. Окрестности Херама дики, но не величественны. Грандиозное в природе и людях по плечу только сильной душе, а я, человек усталый, искал дикости буколической.

Мы пересекали стоверстное озеро Гош в начале золотой осени Лилианы, когда ветры свежи и печальны, а попутные острова горят в отдалении пышными кострами багряной листвы. Со мной была Визи, девушка странной и прекрасной природы; я встретил ее в Кассете, ее родине, – в день скорби. Она знала меня лучше, чем я ее, хотя я думал об ее сердце больше, чем обо всем остальном в мире, и, узнавая, все же оставался в неведении. Не думаю, чтобы это происходило от глупости или недостатка воображения, но ее прелесть являлась для меня гармонией такой силы и нежности, которая уничтожала силу моего постижения. Я не назову чувство к ней словом уже негодным и узким – любовью, нет; – радостное, жадное внимание – вот настоящее имя свету, зажженному Визи. Свет этот в красном аду сознания блистал подобно алмазу, упавшему перед бушующей топкой котла; так нежно и ярко было его сияние, что, будучи, предположительно, свободным от мира, я пожелал бы бессмертия.

Поздно вечером, когда я сидел на палубе, ко мне подошел человек с тройным подбородком, черными, начесанными на низкий лоб волосами, одетый мешковато и грубо, но с претензией на щегольство, выраженное огромным пунцовым галстуком, и спросил – не я ли Галиен Марк. Голос его звучал сухо и подозрительно. Я сказал: «Да».

– А я – Гуктас! – громко сказал он, выпрямляясь и опуская руки. Я видел, что этот человек хочет ссоры, и знал почему. В последнем номере «Метеора» была напечатана моя статья, изобличающая деятельность партии Осеннего Месяца. Гуктас был душой партии, ее скверным ароматом. Ему влетело в этой статье.

– Теперь я вас накажу. – Он как бы не говорил, а медленно дышал злыми словами. – Вы клеветник и змея. Вот что вам следует получить!

Он замахнулся, но я схватил его мясницкую руку и погнул ее вниз, смотря прямо в прыгающие глаза противника. Гуктас, задыхаясь, вырвался и отскочил, пошатнувшись.

– Ну, – сказал он, – так как?

– Да так.

– Где и когда?

– По прибытии в Херам.

– Я буду вас караулить, – заявил Гуктас.

– Караульте, я ни при чем. – И я повернулся к нему спиной, только теперь заметив, что мы окружены пассажирами. Дикое ярмарочное любопытство прочел я во многих холеных и тонких лицах: пахло убийством.

Я спустился в каюту к Визи, от которой никогда и ничего не скрывал, но в этом случае не хотел откровенности, опасной ее спокойствию. Я не был возбужден, но, по крайней мере наружно, не суетился и владел голосом как безупречный артист; я сидел против Визи, рассказывая ей о древних памятниках Луксора. И все-таки, немного спустя, я услышал ее глухой, сердечный голос:

– Что случилось с тобой?

Не знаю, чем я выдал себя. Может быть, неверный оттенок взгляда, рассеянное движение рук, напряженные паузы или еще что, видимое только любви, но мне не оставалось теперь ничего иного, как твердо лгать. «Не понимаю, – сказал я, – почему „случилось“? И что?» – Затем я продолжал разговор, спрашивая себя, не последний ли раз вижу я это прекрасное, нежно нахмуренное лицо, эти ресницы, длинные, как вечерние тени на воде синих озер, и рот, улыбающийся проникновенно, и нервную, живую белизну рук, – но думал: «нет, не в последний», – и простота этого утешения закрывала будущее.

– Завтра утром мы будем в Хераме, – сказал я перед сном Визи, – а я, не знаю почему, в тревоге; все кажется мне неверным и шатким.

Она рассмеялась:

– Я иногда думаю, что для тебя хорошей подругой была бы жизнерадостная, простая девушка, хлопотливая и веселая, а не я.

– Я не хочу жизнерадостной, простой девушки, – сказал я, – поэтому ты усни. Скоро и я лягу, как только придумаю заглавие статье о процессиях, которые ненавижу.

Когда Визи уснула, я сел, чтобы написать письмо к ней, спящей, от меня, сидящего здесь же, рядом, и начал его словом «Прощай». Кандидат в мертвецы должен оставлять такое письмо. Написав, я положил конверт в карман, где ему предназначалось найтись в случае печального для меня конца этой истории, и стал думать о смерти.

Но – о благодетельная сила вековой аллегории! – смерть явилась передо мной в картинно нестрашном виде – скелетом, танцующим с длинной косой в руках, и с такой старой, знакомой гримасой черепа, что я громко зевнул. Мое пробуждение, несмотря на это, было тревожно-резким. Я вскочил с полным сознанием предстоящего, как бы не спав совсем. Наверху зычно стихал гудок – в иллюминаторе мелькал берег Херама; солнце билось в стекло, и я тихо поцеловал спящие глаза Визи.

Она не проснулась. Оставив на столе записку: «Скоро приду, а ты пока собери вещи и поезжай в гостиницу», – поднялся на яркую палубу, где у сходни встретил окаменевшего в ненависти Гуктаса. Его секунданты сухо раскланялись со мной, я же попросил двух, наиболее понравившихся мне лицом пассажиров, – быть моими свидетелями. Они, поговорив между собой, согласились. Я сел с ними в фаэтон, и мы направились к роще Заката, по ту сторону города. Противник мой ехал впереди, изредка оборачиваясь; глаза его сверкали под белой шляпой, как выстрелы. Утро явилось в тот день отменно красивым; стянув к небу от многоцветных осенних лесов все силы блеска и ликования, оно соединило их вдаль, над воздушной синевой гор, в пламенном ядре солнца, драгоценным аграфом, скрепляющим одежды земли. От белых камней в желтой пыли дороги лежали темно-синие тени, палый лист всех оттенков, от лимонного до ярко-вишневого, устилал блистающую росой траву. Черные стволы, упавшие над зеркалом луж, давали отражение удивительной чистоты; пышно грустили сверкающие, подобно иконостасам, рощи, и голубой взлет ясного неба казался мирным навек.

Мои секунданты говорили исключительно о дуэли. Траурный тон их голосов, не скрывавший, однако, жадности зрительского любопытства, был так противен, что я молчал, предоставив им советоваться. Разумеется, я не был спокоен. Целый ливень мыслей угнетал и глушил меня, порождая тоску. Контраст между убийством и голубым небом повергал меня в жестокое средостение меж этих двух берегов, где все принципы, образы, волнения и предчувствия стремились хаотическим водопадом, не знающим никаких преград. Напрасно я уничтожал различные *точки зрения*, из гибели одной вырастали десятки новых, и я был бессилен, как всегда, остановить их борьбу, как всегда не мог направить сознание к какой бы то ни было несложной величине; против воли я думал о тысячах явлений, давших человечеству слова: «Убийство» и «Небо». В несчастной голове моей воистину заседал призрачный безликий парламент, истязая сердце страстной запальчивостью суждений. Вздохнув так глубоко, что кольнуло под ребрами,

я спросил себя: «Отвратительна ли тебе смерть? Ты очень, очень устал...», но не почувствовал возмущения. Затем мы подъехали к обширной лужайке и разошлись по местам, намеченным секундантами. Не без ехидства поднял я в уровень с глазом дорогой тяжелый пистолет Гуктаса, предвидя, что его собственная пуля может попасть в лоб своему хозяину, и целился, не желая изображать барашка, наверняка. «Раз, два, три!» – крикнул мой секундант, вытянув шею. Я выстрелил, тотчас же в руке Гуктаса вспыхнул встречный дымок, на глаза мои упал козырек тьмы, и я надолго исчез. Впоследствии мне сказали, что Гуктас умер от раны в грудь, тогда как я целился ему в голову; из этого я вижу, что чужое оружие всегда требует тщательной и всесторонней пристрелки. Итак, я временно лишился сознания.

II

Когда я пришел в себя, была ночь. Я увидел в полусвете прикрученной лампы (Визи не любила электричества) придвинутое к постели кресло, а в нем заснувшую, полураздетую женщину; ее лицо показалось мне знакомым, и, застонав от резкой головной боли, я приподнялся на локте, чтоб лучше рассмотреть ту, в которой с некоторым усилием узнал Визи. Она изменилась. Я принял это как факт, без всяких, пока что, соображений о причинах метаморфозы, и стал внимательно рассматривать лицо спящей. Я встал, качаясь и придерживаясь за мебель, неслышно увеличил огонь и сел против Визи, обводя взглядом тонкие очертания похудевшего, сосредоточенного лица. Меня продолжало занимать само по себе – то, к чему первому обратилось внимание.

Само по себе – я, следовательно, думал о пустяках, о внешности, и так пристально, что мысль не двигалась дальше. Тень жизни усиливалась в лице Визи, горькая складка усталости таилась в углах губ, потерявших мягкую алость, а рука, лежавшая на колене, стала тонкой по-детски. Столик, уставленный лекарствами, открыл мне, что я был тяжело и, может быть, долго болен. «Да, долго», – подтвердил снег, белевший сквозь черноту стекла, в тишине ночной улицы. Голове было непривычно тепло, подняв руку, я коснулся повязок и, напрягая затрепетавшую память, вспомнил дуэль.

– Прелестно! – сказал я с некоторым совершенно необъяснимым удовольствием по этому поводу и щелкнул слабыми пальцами. Визи «выходила» меня, я видел это по изнуренности ее лица и в особенности по стрелке будильника, стоявшей на трех часах. Будильники – эти палачи счастья – не покупались никогда ни мной, ни Визи, и нынешняя опрокинутость правила говорила о многом. Неподвижная стрелка на трех часах, разумеется, означала часы ночи. Ясно, что Визи, разбуженная ночью звонком, должна была что-то для меня сделать, но это не настроило меня к благодарности: наоборот, я поморщился от мысли, что Визи покушалась беспокоить мою особу, – больную, подстреленную, жалкую; я покачал головой.

Прошло очень немного времени, пока я обдумывал, по странному уклону мысли, способности Илии-пророка вызывать гром, как очень короткий нежный звон механизма мгновенно разбудил Визи. Она протерла глаза, вскочила и бросилась ко мне с испуганным лицом ребенка, убегающего из темной комнаты, и ее тихие руки обвились вокруг моей шеи. Я сказал: «Визи, ты видишь, что я здоров», – и она выпрямилась с радостным криком, путая и теряя движения; уже не испуг, а крупные горячие слезы блестели в ее ярких глазах. Первый раз за время болезни она слышала мои слова, сказанные сознательно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.